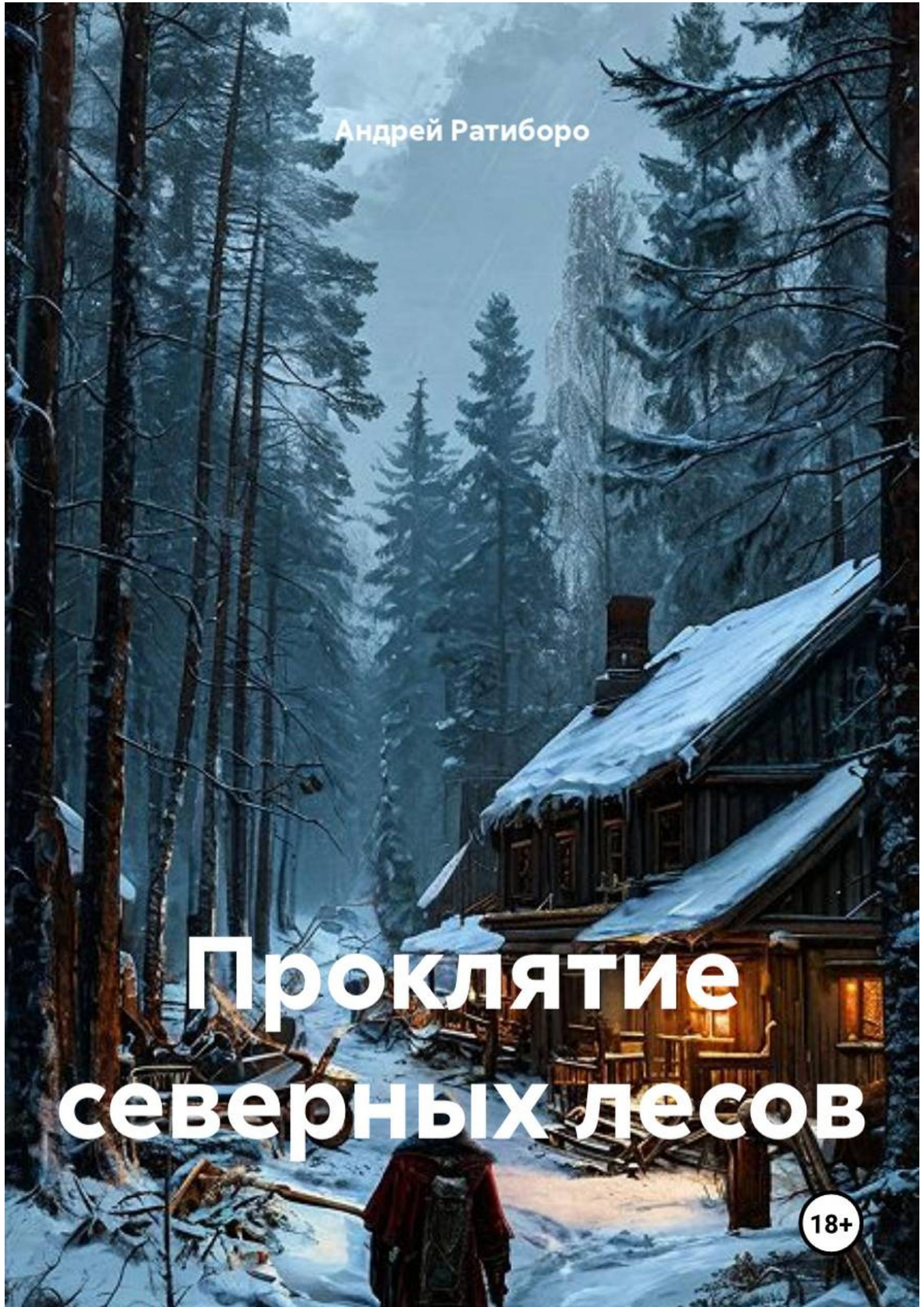




Андрей Ратиборо

Проклятие северных лесов

18+

Андрей Ратиборо

Проклятие северных лесов

«Автор»

2026

Ратиборо А.

Проклятие северных лесов / А. Ратиборо — «Автор», 2026

«Проклятие северных лесов» — мрачный хоррор о древнем зле, что веками дремлет в чащах Ленинградской области и пробуждается, когда люди пытаются покорить эту землю. В глухой деревне нарастает ужас: исчезают жители, в домах слышится зловещий скрип, а тени на снегу становятся длиннее с каждой ночью. Герой узнаёт от старика Петра Ивановича страшную правду: проклятие старше христианства — его боялись ещё славяне и викинги, а позже оно будто обрело союзника в лице вернувшегося из Европы Петра I, чьи стройки и реформы омывались кровью. Цикл зла повторяется из века в век, питаясь болью и страхом, и теперь пришла очередь героя стать его частью. Отчаянный поступок соседки вырывает его из лап тьмы — но лишь на время: проклятие не исчезает, оно терпеливо ждёт следующего, кто шагнёт на тропу, ведущую в лес.

© Ратиборо А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

I	5
II	6
III	7
IV	8
V	9
VI	10
VII	11
VIII	12
IX	13
X	14
XI	15
XII	16
XIII	17
Конец ознакомительного фрагмента.	18

Андрей Ратиборо

Проклятие северных лесов

I

Ленинградская область. Леса здесь живописные — если смотреть на открытки или фотографии из интернета. Сосновые боры, уходящие к горизонту, золотые берёзовые рощи, ельники, в которых солнечный свет падает косыми столбами сквозь мохнатые ветки, — всё это выглядит на снимках так, будто природа создала этот край специально для календарей. Семьдесят процентов территории покрыто лесом. Хвойные и смешанные древостои, перемежающиеся болотами, — почти три миллиона гектаров зелени. Цифры сухие, красивые, безопасные.

Но когда стоишь посреди сырой, пахнувшей гнилью и прелой листвой чащи, где воздух кажется густым, как кисель, «живописность» теряет всякий смысл. Остается только запах. И тишина. Та самая, липкая тишина, которая давит на уши, как вода на глубине.

С детства я люблю собирать грибы. Это не хобби. Это ритуал. С тех пор, как ушла жена, этот ритуал стал единственным, что связывает меня с миром, который когда-то был моим домом. Мы мариновали их вместе. Помню, как она резала белые и подосиновики, как пахло укусом и гвоздикой, как мы спорили, кто положил больше специй. Теперь я просто собираю. И отдаю соседям. Они берут, благодарят, иногда улыбаются с тем жалким сочувствием, которое испытывают к одиноким старикам. Я не прошу их понимания. Я прошу только тишины.

В этом году всё изменилось.

Сначала я подумал, что это сезон. Медведи активизируются, когда орехи не завязываются или когда лето затягивается. В Ленинградской области их около трёх тысяч — бурых, тяжёлых, каждый весом до двухсот пятидесяти килограммов. Когда такой зверь встаёт на задние лапы, рост его превышает два метра, и тень от него накрывает тебя, как крышка гроба. Но в этом году активность была другой. Она была... целенаправленной.

Массово медведи нападают на грибников. Так пишут в новостях. «Бурый медведь атаковал туриста», «Медведица защищала детёнышей». Официальная версия всегда одна и та же. Хищник, инстинкт, случайность. Но я видел то, что они не показывают по телевизору. Я видел следы.

Они слишком большие. Или слишком маленькие? Нет, размер — это не главное. Главное — форма. Пять пальцев. Но кончики... Они не оставляют тех округлых вмятин, которые оставляет лапа медведя. Эти следы врезались в землю, как когти. Глубоко. До самой глины.

Медведи убивают людей. Да. Я знаю. Но то, что происходит в нашем лесу, — это не убийство ради мяса или страха. Это охота. Чистая, холодная охота.

А может, это и не медведь?

Я начинаю задавать этот вопрос всё чаще. Сначала шёпотом, в своей пустой квартире, глядя в тёмное окно. Потом вслух, когда иду по тропе.

А может, это и не медведь?

II

Лес начинается сразу за околицей. Буквально — шаг, второй, и ты уже внутри. Сначала идёшь через берёзник. Берёза пушистая и бородавчатая — два вида, которые растут вперемешку, белые стволы словно кости, вымытые дождём. Под ногами пружинит подстилка из прошлогодних листьев, уже наполовину перегнившая, тёмная, пахнущая землёй. Кусты малины цепляются за штанины. Крушина ломкая растёт по краям тропы, её чёрные ягоды смотрят, как зрачки. И ты чувствуешь — смотрят. Именно смотрят.

Потом берёзник редет, и начинается ельник. Вот тут меняется всё. Свет гаснет, как в соборе, когда закрывают витражи. Еловый лес — это всегда полумрак, всегда прохлада, всегда запах хвои, влажной коры и чего-то ещё, чему нет названия. Подлесок почти отсутствует — ель затеняет всё, не даёт никому расти под собой. Только кислица, тонкий бледный клевероподобный коврик, да местами майник двулистный с его крошечными белыми цветками, похожими на звёздочки, которые упали и застряли в мху.

Мох. Здесь мох — это господин. Сфагнум, гипнум, кукушкин лён — зелёный, серый, бурый, иногда почти чёрный. Он покрывает всё: камни, упавшие стволы, пни. Ты идёшь, и тебе кажется, что ты идёшь по телу чего-то живого, тёплого, дышащего. Что мох — это кожа, и под ней что-то шевелится.

Вчера я нашёл гриб. Огромный, белый, с чистой, без единой червяка ножкой. Он рос прямо на краю ямы, которую я видел накануне. Я наклонился, чтобы сорвать его. И тогда я услышал дыхание.

Не хрип. Не рычание. Дыхание. Ровное, глубокое, влажное. Оно исходило из темноты, из-под корней старой сосны. Я замер. Сердце колотилось где-то в горле. Я медленно, миллиметр за миллиметром, развернулся.

Никого не было.

Но на мокрых листьях у моих ботинок отпечатались следы. Пять пальцев. Длинные, тонкие, с когтями, которые казались чернее самой тьмы.

Я выбежал из леса. Бежал, пока не увидел огни деревни. Бежал, пока ноги не стали ватными. Бежал, потому что знал: он там. Он ждёт. Он знает, что я вернулся. Он знает, что я буду возвращаться снова и снова. Потому что грибы растут. А он голоден.

Сегодня утром я взял корзину. И нож. Не для грибов.

Лес снова пахнет гнилью. И тишиной. И чем-то ещё. Чем-то сладким и металлическим, что напоминает запах крови.

Я иду. Потому что, может быть, на этот раз я найду ответ. Или стану частью его.

III

Позвольте рассказать вам о лесе. Не о том лесе из букварей и школьных презентаций, а о настоящем. О том, который глотает людей.

Территория Ленинградской области лежит в подзоне южной тайги. На севере — средняя тайга, строже, суровее, темнее. Лесной фонд региона — почти 7,3 миллиона гектаров охотничьих угодий. Представьте себе это число. А теперь представьте, что вы — точка в этом числе. Меньше точки. Меньше атома. Лес не знает, что вы существуете. Лес не нуждается в том, чтобы вы существовали.

Основу лесов составляют хвойные древостой. Сосняки занимают сорок процентов покрытой лесом площади. Сосна — дерево-воин. Она растёт на песчаных почвах, на каменистых грядках, на местах, где другие породы не выживают. Карельский перешеек — вот где сосна царит безраздельно, её прямые, как колонны, стволы уходят в небо, и в сосновом бору всегда светло, потому что сосна не затеняет землю так безжалостно, как ель. Сосновый бор — это собор. Высокий, светлый, торжественный. Под ногами — лишайниково-зелёномошный покров, серый и мягкий, как старый ковер. В таком бору чувствуешь себя в безопасности.

До поры до времени.

Потому что даже в самом светлом сосновом бору есть тени. И в этих тенях есть движение. Я видел его — краем глаза, всегда краем глаза. Что-то продолговатое, быстрое, неуловимое. Оборачиваешься — ничего. Только ветер качает ветки. Только хвоя шуршит, как тысячи маленьких ножей, которые режут бумагу. Только тишина, которая не молчит, а ждёт.

Еловые леса — другое дело. Ель — дерево тьмы. Крона густая, тёмная, почти не пропускает свет. Под елью всегда темно, всегда сыро, всегда холодно. Еловый лес — это чёрный собор. Здесь растёт черника — мелкие кустарнички с сизыми ягодами, кислыми и терпкими. Здесь брусника краснеет среди мха, как капли крови на зелёном бархате. Здесь линнея северная стелется по земле, её бледно-розовые цветки на тонких нитях стеблей кажутся чем-то нереальным, призрачным. Будто кто-то уже умер здесь, и цветы — это последнее, что осталось от его дыхания.

Ельник живёт по своим законам. Всё, что падает на землю, — ветки, шишки, хвоя, мёртвые птицы — всё это ложится слоями, уплотняется, перегнивает, превращается в подстилку. В#### подстилки обитают грибы — мои, мои грибы, белые, подосиновики, подберёзовики, рыжики, грузди. Их мицелий тянется под землёй на десятки метров, как нервная сеть. Грибы — это не растения. Это не животные. Это что-то третье. Что-то, что живёт по законам, которых мы не понимаем. И когда я наклоняюсь, чтобы срезать гриб, я всегда думаю: а что, если это он срезает меня? Что, если лес — это грибница, а я — плодовое тело, которое пришло время сорвать?

На юге области, в Лужском районе, хвойный лес уступает место смешанному. Появляются лиственные породы: берёза, осина, ольха серая и чёрная. Ольха чёрная растёт в сырых местах, по берегам рек, на заболоченных низинах. Её стволы тёмные, почти чёрные, и кора покрыта чем-то, что напоминает лишайник, но не лишайник. Это что-то другое. Что-то живое. Я трогал его однажды. Оно было тёплым.

На участках с более плодородными почвами — редких, разбросанных островами на Ижорской возвышенности — встречаются широколиственные породы: клён остролистный, липа мелколистная, дуб черешчатый, вяз шершавый и гладкий, ясень обыкновенный. В подлеске — лещина. Дубравы в Ленинградской области — реликт, остатки иного времени, иного климата, иной жизни. Когда стоишь в дубраве, чувствуешь: здесь что-то не так. Деревья слишком старые, слишком толстые, слишком... знающие. Дуб живёт триста, четыреста, пятьсот лет. Он помнит то, чего не помнишь ты. Он видел то, чего не видел ты. И он не говорит. Он ждёт.

IV

Животный мир. Об этом пишут в учебниках, и я расскажу вам — но так, как этого не делают учебники.

В Ленинградской области обитает шестьдесят восемь видов млекопитающих. Белка, хорь, куница, крот, заяц-беляк и заяц-русак, различные грызуны — полевая и лесная мыши, крысы. Мелочь. Тихая жизнь под ногами, над головой, в норах и дуплах. Но есть и другое.

Лось. Шестьсот килограммов живого веса, рога как коряги, ноги как ходули. Лось идёт через лес, как танк, ломая ветки, не замечая ничего. Я видел лося однажды — на рассвете, в тумане, в берёзовом мелколеске. Он стоял неподвижно, и туман обтекал его, как вода обтекает камень. Он смотрел на меня. Долго. Потом развернулся и ушёл. И я понял: он не боялся. Он просто решил меня не трогать. Пока.

Кабан. Двести кило мышц и злости. Кабаны приходят стаями, роют землю, выворачивают корни, уничтожают всё на своём пути. Свиньи — умные животные, умнее собак, умнее кошек. Но в лесу ум — это не то, что спасает. В лесу спасает запах. Спасает слух. Спасает скорость. Кабаны не быстры, но упрямые. Если кабан решил, что ты — враг, он не остановится. Он будет бежать на тебя, и ты будешь бежать, и вопрос только в том, кто быстрее устанет.

Волк. Около четырёхсот особей в области. Обыкновенный серый волк, а в последние десять лет — ещё и чёрные волки, которые пришли из Финляндии, перейдя границу так же легко, как переходят тропу. Чёрный волк — это не просто окрас. Это ген, занесённый из Канады, и когда видишь чёрного волка в сумерках, ты не видишь волка. Ты видишь тень, которая отделилась от других теней и пошла за тобой. Волки воют. Все знают, как воют волки. Но мало кто слышал, как волки молчат. Это хуже. Когда волк молчит, он рядом. Очень рядом. Ближе, чем ты думаешь. Ближе, чем можешь себе позволить думать.

Рысь. Ещё четыреста особей. Рыжая, пятнистая, размером с большую собаку. Стопы покрыты волосами — зимой не проваливается в снег. Зрение — видит в темноте, фокусируется долго, пристально, не отрываясь. Обоняние и слух — движение зайца слышит за шестьдесят метров. Шестьдесят метров. Это длина автобусной остановки. Это длина твоего огорода. Это расстояние, на котором ты ещё не видишь рысь, но она уже видит тебя. Она преследует жертву со скоростью пятьдесят километров в час. Лазает по деревьям. Далеко прыгает. Хорошо плавает. Может пройти тридцать километров без остановки.

Тридцать километров. От моего дома до райцентра — двадцать три. То есть рысь, если захочет, дойдёт до моего дома, пройдёт мимо, вернётся в лес, и я даже не узнаю. Или узнаю — по следам. По мелким, круглым, кошачьим следам на снегу у крыльца. По ощущению, что кто-то смотрел в окно, пока я спал.

Росомаха. Десять особей. Десять. Цифра смехотворная для региона, где лес занимает семьдесят процентов территории. Но росомаха — не цифра. Росомаха — это сила, заключённая в тело размером с небольшую собаку. Она поднимает из Карелии, спускается южнее, когда зима холодает. Она ест всё: падаль, ягоды, орехи, мясо, кости. Она грызёт кости, которые не может раскусить волк. Она живёт одна, и она не боится ничего. Ни медведя, ни человека, ни темноты. Для росомахи темнота — это дом.

V

А медведь. Давайте поговорим о медведе.

Бурый медведь. *Ursus arctos*. Три тысячи особей в Ленинградской области. Три тысячи. Каждый год охотники добывают сто пятьдесят-двести, и число держится, и лес не пустеет, и медведей хватает. С ноября по март медведь спит. Берлога — яма в земле, выстланная мхом и ветками, иногда под вывороченными корнями упавшего дерева. Медведь сворачивается калачиком, закрывает глаза, и дыхание его замедляется, и сердце бьётся реже, и он спит. Спит и видит сны.

О чём снятся сны медведю? Я думал об этом. Часто. Особенно ночью, когда ветер стучит в окно, а в темноте за стеклом что-то шевелится. Медведь спит четыре месяца. Четыре месяца без еды, без воды, без движения. Его тело переключается в режим, который не снится человеку, — режим, при котором он не теряет мышечную массу, не слабеет, не умирает. Он просто ждёт. И когда приходит весна, он выходит из берлоги голодный.

Голодный медведь — это не животное. Это стихия. Это огонь, ураган, наводнение в одном теле. Он ест всё: муравьёв из развороченных муравейников, ягоды — чернику, бруснику, малину, клюкву, морошку, орехи, жёлуди, злаки, корни, грибы. И мясо. Если попадётся заяц — заяц. Если попадётся косуля — косуля. Если попадётся человек — человек.

Медведь оставляет следы. Развороченные трухлявые пни, разорённые муравейники, помёт — крупный, тёмный, с неперевавленными остатками. И отпечатки лап. Широкие, с пятью пальцами, с округлыми вмятинами от когтей. Когти у медведя длинные — до десяти сантиметров. Но они тупые, потому что медведь не кошка. Он не втягивает когти, не точит их. Он просто ходит, и когти стираются о землю, о камни, о корни.

Следы, которые я видел, были другими. Когти в них — острые. Глубокие. Будто кто-то нарочно вонзал их в землю, в глину, в самую сердцевину почвы. Будто кто-то копал. Или рвал. Или хотел выбраться.

Откуда? Из-под земли? Из-под корней? Из ямы, на краю которой рос гриб?

VI

Птицы. Триста видов. Через территорию области проходит Беломоро-Балтийский миграционный путь водоплавающих и околоводных птиц, и осенью небо гудит от стай, и гуси летят клином, и журавли трубят в вышине, и ты задираешь голову и смотришь, и на секунду — только на секунду — забываешь обо всём.

Но птицы бывают разные.

Глухарь — птица##ом с индюка. Токует весной, на рассвете, в ельнике, и в момент тока глухарь не слышит ничего. Отсюда название — глухарь. Он поёт, и весь мир для него замолкает. Это, наверное, единственный момент, когда лес безопасен для глухаря. И единственный момент, когда лес опасен для тебя. Потому что, когда глухарь токует, ты слышишь всё остальное. Шорох. Треск. Дыхание. То самое дыхание, ровное, глубокое, влажное, из темноты, из под корней старой сосны.

Тетерев, рябчик, серая и белая куропатки — обычная дичь, добыча охотников. Дятел — девять видов в области, от большого пёстрого до трёхпалого, от зелёного до седого. Дятел стучит, как маленький молоточек, и в этом стуке есть ритм, и в этом ритме есть что-то гипнотическое. Тук. Тук. Тук-тук-тук. Тук. И ты останавливаешься и слушаешь, и через минуту не помнишь, куда шёл. Через две — не помнишь, зачем. Через три — не помнишь, кто ты.

Кукушка считает. Все знают, что кукушка считает. Она считает годы, она считает беды, она считает то, что не положено считать. И когда кукушка замолкает на середине, ты понимаешь: она не сбилась. Она закончила. Всё.

Но настоящие птицы страха — хищные. Беркут — десять пар в области, гнездятся, остаются вместе всю жизнь, охотятся на зайцев, на косуль, на всё, что может поднять в воздух. Орлан-белохвост — самый сильный, самый мощный, пять пар. Скопа — сорок пар, живёт у воды, ловит рыбу. Эти птицы видят мир сверху, видят тебя как точку, как движение, как добычу. И когда над лесом кружит беркут, ты чувствуешь: он видит не только тебя. Он видит то, что рядом с тобой. То, чего ты не видишь. То, что идёт за тобой.

Сова. Все виды сов занесены в Красную книгу Ленинградской области. Совы несут тишину на крыльях. Их полёт бесшумен. Их взгляд неподвижен. Их крик — это не голос птицы, это звук, который издаёт лес, когда думает. И когда сова кричит ночью, ты просыпаешься, и сердце колотится, и ты не знаешь почему. Но лес знает. Лес всегда знает.

VII

Болота.

Ленинградская область — это не только лес. Это ещё и болота. Топкие, бесконечные, затянутые сфагнумом, осоками, хвощами, тростниками. На болотах растёт клюква — мелкая, красная, кислая ягода, которую собирают поздней осенью, когда первые заморозки уже тронули воду, а мох ещё не спит. Морошка — янтарная, сладко-кислая, растёт на кочках, и собирать её — значит ходить по болоту, по трясине, по тому, что не имеет дна.

Болото — это не место. Болото — это состояние. Тыходишь в него, и земля под ногами становится мягкой, и вода выступает из мха, и ты чувствуешь, что стоишь не на земле, а на чём-то, что может в любой момент решить: хватит. И ты уходишь. Вниз. Тихо, медленно, без крика, потому что крик — это воздух, а воздух — наверху, а ты уже внизу, и мох смыкается над тобой, и всё, что остаётся, — пузырь газа, который поднимается на поверхность и лопаётся с тихим, влажным звуком.

Багульник болотный растёт на болотах. Его запах одуряюще сладкий, тяжёлый, как ладан. Говорят, что если спать в зарослях багульника, можно проснуться с головной болью, с тошнотой, с ощущением, что ты не спал, а был где-то. Багульник ядовит. Все его части ядовиты. И когда я иду мимо зарослей багульника по краю болота, я задерживаю дыхание. Не потому что боюсь отравиться. Потому что мне кажется: если вдохнуть этот запах слишком глубоко, можно увидеть то, что видеть не нужно. Можно услышать то, что слышать не нужно. Можно узнать то, чего лучше не знать.

Морошка на болоте — последняя приманка. Последний довод леса. Иди сюда, говорит лес. Иди сюда, здесь сладко. Здесь янтарь на зелёном мху, здесь солнце в каждой ягоде. Иди. Ещё шаг. Ещё. Мох поднимается и опускается, дышит, как живой. Вода между кочками тёмная, как чай. И ты делаешь ещё один шаг, и нога уходит глубже, чем должна, и ты останавливаешься, и смотришь вниз, и видишь — в воде, в тёмной, как чай, воде — отражение. Не своё.

VIII

Мелкие твари. Те, которых не замечают. Те, кто живёт под листом, под корой, под камнем.

Восемь видов земноводных. Пять-семь — в разных источниках по-разному. Жабы, лягушки, тритоны. Жерлянка — краснобрюхая, мелкая, с ярким животом, который она показывает, когда ей страшно. Но кто кого должен бояться — вопрос. Земноводные появляются весной, в лужах, в канавах, в стоячей воде. Их голоса — первый звук весеннего леса, и в этом звуке нет тепла. В нём — напоминание. Что лес проснулся. Что лес снова голоден.

Рептилии. Гадюка обыкновенная. Змея, чей укус может убить ребёнка, может искалечить взрослого. Гадюка не нападает. Гадюка защищается. Но защита её — это яд, и яд — это боль, и боль — это тьма, и тьма — это конец, если не успеть. Гадюка лежит на камне, на солнцепёке, свернувшись кольцом, и узор на её спине — зигзаг, тёмный, чёткий, как подпись. Как подпись леса на документе, который ты не читал, но подписал, когда вошёл.

Уж. Обыкновенный уж — не ядовит. Но от этого не менее страшен. Уж плывёт в воде, и тело его извивается, и ты видишь жёлтые пятна по бокам головы — «ушки», — и знаешь: это уж, не гадюка. Но руки дрожат. Потому что лес не позволяет расслабиться. Лес держит тебя в напряжении, как тетива, и каждый звук, каждый шорох, каждое движение — это ещё одна капелька страха, которая добавляется к уже накопленному.

Веретеница ломкая — ящерица, которая выглядит как змея, потому что у неё нет ног. Она блестящая, бронзовая, скользкая. Когда берёшь её в руки, она ломается — хвост отделяется и дёргается, дёргается, дёргается, пока ты не бросишь его, не бросишь всё, и не убежишь.

Живородящая ящерица — мелкая, бурая, быстрая. Скользит между камнями, между корнями. И когда видишь её, думаешь: она знает куда-то путь. Она знает короткую дорогу. Куда? К яме? К старой сосне? К тому, что дышит?

IX

Насекомые. Я не буду перечислять их все — не хватит слов, и, честно говоря, я не хочу. Комары, слепни, мошка, оводы, клещи — это только начало. Клещ переносит боррелиоз и энцефалит. Комар — лихорадку. Но это не то, что пугает. Это то, что раздражает. А пугает — другое.

Жуки. Тысячи видов. Жужелицы, хрущи, короеды, усачи. Короед-типограф уничтожает ельники за один сезон — дерево за деревом, гектар за гектар, и лес стоит мёртвый, серый, без хвои, и кора облеплена белыми личинками, и ты идёшь среди мёртвых елей, и они скрипят на ветру, и скрип этот — как голоса, как стоны, как разговор, который ведут мертвецы.

Пауки. Сотни видов. Крестовик плетёт сеть между веток, и роса утром делает её видимой — и она красива, и она страшна, потому что это ловушка. Всё в лесу — ловушка. Каждая тропа — ловушка. Каждый гриб, растущий на краю ямы, — ловушка. И ты — добыча. Ты всегда был добычей. Просто раньше ты этого не знал.

Муравьи. Муравейник — структура. Цивилизация. Под кожей леса живёт народ, который не спит, не отдыхает, не сдаётся. Муравьи строят, воюют, умирают, и муравейник — это не куча хвои. Это город. С улицами, с туннелями, с кладбищами. И когда медведь разоряет муравейник — а он разоряет, потому что муравьи — еда, — муравьи не погибают. Они переносят яйца, переносят личинок, переносят королеву, и строят заново. И ты думаешь: а что, если лес — это муравейник? А что, если мы — муравьи? А что, если тот, кто разоряет, — не медведь?

Х

Грибы.

Я должен поговориться о грибах. Потому что грибы — это моя жизнь, мой ритуал, моя связь с тем, что было. И потому что грибы — это не то, чем кажутся.

Грибы не относятся ни к растениям, ни к животным. Это отдельное царство. Царство. Слово не случайное. У грибов есть королевства, у грибов есть сети, у грибов есть структура, которая старше любого дерева, любого зверя, любого человека. Мицелий — грибница — тянется под лесом на километры. Он связывает деревья, передаёт между ними питательные вещества, воду, сигналы. Деревья общаются через грибницу. Лес думает через грибницу. Лес — это не набор деревьев. Лес — это один организм, и грибы — его нервная система.

Когда я иду по лесу и собираю грибы, я срезаю плодовые тела. Как яблоки с дерева. Но грибница остаётся. Она под ногами, всегда под ногами, и она знает, что я здесь. Она чувствует вибрацию моих шагов. Она, может быть, чувствует тепло моего тела. И когда я наклоняюсь к белому грибу — самому крупному, самому мясистому, самому желанному, — я думаю: а что, если он тоже наклоняется ко мне?

Белый гриб, *Boletus edulis*. Король грибов. Шляпка тёмно-бурая, ножка толстая, бочонком, мякоть белая, плотная, не темнеет на срезе. Растёт в сосняках, в ельниках, в дубравах. Образует микоризу с корнями деревьев — *symbiosis*, взаимовыгодная связь. Гриб даёт дереву воду и минералы, дерево даёт грибу углерод. Сделка. Контракт. И когда я срываю белый гриб, я нарушаю контракт. Я забираю плод. Лес это запоминает.

Подосиновик — красноголовый, стройный, с чёрной чешуей на ножке, синеет на срезе. Подберёзовик — скромнее, бледнее, но надёжнее. Рыжик — оранжевый, с молочным соком, растёт в ельниках и сосняках. Грузди — белые, сырые, волнушки, сыроежки, лисички — жёлтые, рваные, как язычки пламени на земле.

Мухомор. Красный, с белыми точками, красивый, как отравленный подарок. Мухомор не едят. Мухомор — это сигнал. Он растёт там, где грибница сильна, где лес уверен в себе, где ему не нужно прятаться. Мухомор — это флаг леса. Он говорит: я здесь. Я живой. Я жду.

А бледная поганка? Зелёная, невзрачная, похожая на сыроежку. Одна поганка — и конец. Смерть от разрушения печени, медленная, мучительная, на пятый день, когда кажется, что стало лучше, а на самом деле органы уже отключились. Лес не убивает быстро. Лес даёт время подумать. Лес даёт время пожалеть.

XI

Вчера я снова ходил в лес. Ранним утром, до рассвета, когда небо было цвета мокрого асфальта, а деревья — чёрными силуэтами на сером фоне. Я взял корзину. И нож. Не тот нож, которым режу грибы, — другой, больше, тяжелее, с фиксированным клинком. Нож, которым в лесу делают одно: защищаются.

Я шёл через берёзняк, и листья под ногами шуршали, и крапива хлестала по рукам, и я чувствовал, как лес просыпается. Не так, как просыпается человек, — медленно, с переходами. Нет. Лес просыпается сразу. В одну секунду — тишина, в следующую — звук. И звук этот — везде. Со всех сторон.

Потом вошёл в ельник. Темнота сомкнулась, как книга. Я включил фонарь, и луч прорезал мрак, и в луче метались пылинки, и споры грибов, и мелкие насекомые, и я подумал: я дышу лесом. Я вдыхаю его споры, его пыльцу, его запах, и он входит в меня, и становится мной, и через час я не буду знать, где заканчиваюсь я и начинается он.

Я шёл по тропе, которую знаю с детства. Тропа вела к старой сосне — огромной, с трещиноватой корой, с корнями, вылезающими из земли, как щупальца. Под этой сосной я всегда находил белые грибы. Каждый год. Каждый сезон. Она давала мне грибы, а я давал ей свою благодарность, свою тишину, своё уважение.

Подойдя, я остановился. Корзина была пуста, но не в ней было дело. Я посветил фонарём под корни.

Яма была на месте. Но стала глубже. И шире. И из ямы, из её чёрной, как дёготь, глубины, поднимался запах. Сладкий. Металлический. Как запах крови.

И дыхание. Ровное. Глубокое. Влажное.

Я направил луч вниз. Свет упал на что-то, и я не сразу понял, что вижу. Мох. Корни. Земля. И — в центре ямы — что-то белое. Кости? Нет. Гриб. Белый гриб. Огромный, больше любого, что я видел. Он рос из стены ямы, из самой земли, из тьмы, и его шляпка была мокрой, блестящей, и ножка была чистой, без червяков, без гнили, — чистой, как у мертвеца.

Я хотел наклониться. Рука сама потянулась к нему, и тело сделало полшага вперёд, и я понял, что мне нужно сорвать его, что я должен, что он ждёт, что я ждал всю жизнь, что этот гриб — ответ, этот гриб — конец, этот гриб — всё.

И тогда дыхание стало громче. Ближе. Теплее. Оно коснулось моей шеи, как ладонь, и я почувствовал, что за моей спиной стоит кто-то высокий, кто-то тяжёлый, кто-то, кто пахнет не медведем, не волком, не человеком, — чем-то другим, чем-то, что не пахнет ни одно животное в этом лесу.

Я не обернулся. Я побежал. Бежал, ломая ветки, проваливаясь в мох, спотыкаясь о корни. Бежал, и фонарь выхватывал из тьмы стволы, ветки, листья, — и каждый ствол был лицом, каждая ветка — рукой, каждый лист — глазом. Бежал, и дыхание не отставало. Оно было за спиной, потом слева, потом справа, потом везде, как будто лес дышал на меня со всех сторон.

Я выбежал из ельника в берёзняк, из берёзняка — на опушку, из опушки — на дорогу, на гравий, на асфальт, к огням деревни. И остановился, и согнулся, и меня вырвало. Не от беготни. От страха. От того, что я увидел. От того, что я не увидел.

XII

Сегодня утром я стою на краю леса. Корзина в руке. Нож на поясе. Утренний туман лежит между деревьями, как саван. Тишина — не тишина, а ожидание. Лес ждёт. Он знает, что я приду.

В Ленобласти триста тысяч квадратных километров леса. Шестьдесят восемь видов млекопитающих. Триста видов птиц. Восемьдесят видов рыб. Пятьсот семьдесят восемь видов животных в Красной книге. Сорок семь процентов территории — особо охраняемые природные зоны. Всё это — цифры. Факты. Безопасные, сухие, круглые, как камни на дне ручья.

Но лес не состоит из цифр. Лес состоит из тьмы, и тишины, и запаха, и дыхания. Лес состоит из того, что ты не видишь. Лес состоит из того, что видит тебя.

Я делаю шаг. Тропа уходит в туман. Берёзы стоят, как стражники, белые и молчаливые. Где-то впереди — ельник, сосна, яма, гриб. Где-то впереди — оно. Тот, кто дышит. Тот, кто ждёт. Тот, кто знает моё имя, потому что лес знает все имена, и грибы передают их по мицелию, и деревья шепчут их корнями, и птицы поют их на рассвете.

Я иду. Потому что лес — это мой дом. Потому что грибы — это мой ритал. Потому что жена ушла, а лес остался, и лес — это всё, что у меня есть. Даже если лес — это всё, что меня поглотит.

Туман смыкается за спиной. Я слышу — или мне кажется, что слышу — как footsteps, мои шаги, становятся не моими. Как кто-то идёт рядом, в точности повторяя мой ритм, в точности попадая в мою ногу, и я не могу остановиться, потому что если остановлюсь, он остановится тоже, и повернёт, и посмотрит, и я увижу его лицо.

Или у него нет лица?

Или его лицо — это моё лицо, отражённое в тёмной болотной воде, в воде, которая не имеет дна, в воде, которая ждёт, в воде, которая помнит?

Я иду. Тени в хвое. Тени в хвое. Тени в хвое.

XIII

Его звали Пётр Иванович. Пётр Иванович Громов. Семьдесят три года, из которых пятьдесят четыре — в лесу. Охотник, егерь, проводник. Человек, который знал лес так, как знают свой дом, — то есть знали, что в углах прячется то, о чём лучше не думать. Он жил в деревне Кивеннапа, в двух километрах от моего дома, в избе, которая казалась такой же старой, как окружающий её лес. Крыша просела, ставни были закрыты даже днём, а во дворе лежали рога — лосиные, олени, — и кости, и черепа, и пень, на котором он разделявал дичь. Пень был тёмный от крови, вьёвшейся в древесину за десятилетия.

Я пришёл к нему, потому что больше некуда было идти. Милиция — тогда ещё милиция, не полиция — отмахнулась. «Медведь-шатун, — сказали они. — Бывает. Не ходите в лес». Я и не ходил. Три дня не ходил. Три дня сидел в квартире, смотрел в стену, слушал тишину, которая не была тишиной, потому что в ней жил звук — ровное, глубокое, влажное дыхание, которое я слышал у старой сосны. Оно не отпускало. Оно жило в моей голове, как заноза, которая вошла слишком глубоко, чтобы её вытащить.

На четвёртый день я пошёл к Пётру Ивановичу.

Он сидел на крыльце, курил махорку, скрученную в газетную бумагу, и смотрел на лес. Не на лес — в лес. Как смотрят в окно, когда за окном кто-то стоит. Не моргая, не двигаясь, не дыша.

— Пётр Иванович, — сказал я, — мне нужно поговорить.

Он не обернулся. Затянулся. Выдохнул дым — серый, густой, он повис в воздухе, как призрак, и медленно растворился.

— Знаю, — сказал он. — Знаю, зачем пришёл. Садись.

Я сел. На крыльце была скамейка, деревянная, с вырезанными на спинке инициалами — «П. Г.» — и датой: 1969. Скамейка была старше меня. Она скрипнула, когда я сел, и скрип был такой, словно дерево жаловалось, словно оно не хотело, чтобы я на нём сидел.

Пётр Иванович молчал долго. Так долго, что я успел рассмотреть его руки — огромные, узловатые, с пальцами, которые когда-то были сильными, а теперь казались корнями дерева. Ногти — жёлтые, толстые, обломанные. Шрам на тыльной стороне ладони — длинный, белый, рваный. Медвежий, — подумал я. Он заметил мой взгляд и спрятал руку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.